

## **М.А. Шолохов (1905—1984)**

### **Наука ненависти**

На войне, деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С., здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты, в зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах.

Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевиито-клейких листках.

Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением:

– Как же ты тут уцелела, милая?..

Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб.

На повесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымянной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья...

Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном. Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье.

Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади – конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца, летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке.

Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги.

Шагавший впереди немец – пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, – поравнялся с блиндажом, кинул в нашу сторону исподлобный, волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким, лающим голосом:

– Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрее, говорят тебе!.. Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, вполголоса сказал: – Ничего не поделаешь, – нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там, и после этого живых гитлеровцев не может видеть, именно живых! На мертвых смотрит ничего, я бы сказал – даже с удовольствием, а вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет. – Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот: – Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку; силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает... Всякие виды мне приходилось выдывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, – это страшно!

Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издали доносился орудийный выстрел, спустя несколько секунд над нашими головами, высоко в звездном небе, слышался железный клекот снаряда, воющий звук нарастал и удалялся, а затем где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя и громово звучал разрыв.

В промежутках между выстрелами, когда в лесу устанавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки.

Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить.

– До войны работал я механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван девятого июля прошлого года. Семья у меня – жена, двое ребят, отец-инвалид. Ну, на проводах, как полагается, жена и поплакала, и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится – жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не беспокойся!»...

Отец, тот, конечно, покрепче, но без наказания и тут не обошлось: «Смотри, – говорит, – Виктор, фамилия Герасимовых – это не простая фамилия. Ты – потомственный рабочий; прадед твой еще у Строганова работал; наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то – твоя, она тебя командиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко».

«Будет сделано, отец».

По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек... Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу агитировали, то этот вовсе спуска не даст, двинет какую-нибудь речугу на полчаса, обязательно двинет! А получилось все наоборот. «Садись,

Герасимов, – говорит мой секретарь, – перед дорогой посидим минутку по старому обычаю».

Посидели мы с ним немного, помолчали, потом он встал, и вижу – очки у него будто бы отпотели... Вот, думаю, чудеса какие нынче происходят! А секретарь и говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким, лопоухим, когда ты пионерский галстук носил, помню затем комсомольцем, знаю и как коммуниста на протяжении десяти лет. Иди, бей гадов беспощадно! Парторганизация на тебя надеется». Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и, черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше...

И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный.

А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене невесело; ну, и моя жена, конечно, тоже растерялась немного от горя, все хотела что-то важное сказать, а в голове у нее сквозняк получился, все мысли вылетели. И вот уже поезд тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит:

«Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте». – «Что ты, – говорю ей, – Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться, и веселее стало от милых и глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев. Ну, думаю тронули нас, вероломные соседи, – теперь держитесь! Вколем мы вам по первое число!

Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь к вспыхнувшей на переднем крае пулеметной перестрелке, потом, когда стрельба прекратилась, так же внезапно, как и началась, продолжал:

– До войны на завод к нам поступали машины из Германии. При сборке, бывало, раз по пять ощупаю каждую деталь, осмотрю ее со всех сторон. Ничего не скажешь – умные руки эти машины делали. Книги немецких писателей читал и любил и как-то привык с уважением относиться к немецкому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было в конце концов их дело. Потом началась война в Западной Европе...

И вот еду я на фронт и думаю: техника у немцев сильная, армия – тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, да об этом после...

В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили двадцать седьмого рано утром. Сначала, в новинку-то, было страшновато малость.

Минометами сильно они нас одолевали, но к вечеру освоились мы немного и дали им по зубам, выбили из одной деревушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в пятнадцать, пленных. Помню, как сейчас: привели их, испуганных, бледных; бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может: кто – котелок щей, кто – табаку или папирос, кто – чаем угощает. По спинам их похлопывают, «камрадами» называют: за что, мол, воюете, камрады?..

А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную картину и говорит: «Слюни вы распустили с этими «друзьями». Здесь они все камрады, а вы бы

посмотрели, что эти камрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным населением обращаются». Сказал, словно ушат холодной воды на нас вылил, и ушел.

Вскоре перешли мы в наступление и тут действительно насмотрелись...

Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки...

Особенно одна осталась у меня в памяти: ей было лет одиннадцать, она, как видно, шла в школу; немцы поймали ее, затащили на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофельной ботве, маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись залитые кровью ученические тетради и учебники...

Лицо ее было страшно изрублено тесаком, в руке она сжимала раскрытую школьную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом бойцы так же молча разошлись, а я стоял и, помню, как иступленный, шептал: «Барков, Половинкин. Физическая география. Учебник для неполной средней и средней школы». Это я прочитал на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот мне знаком. Моя дочь тоже училась в пятом классе. Это было неподалеку от Ружина. А около Сквир в овраге мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот так примерно выглядело это место... На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со снятой до половины кожей... Отдельной кучей было свалено на дне оврага восемь человек убитых. Там нельзя было понять, кому из замученных что принадлежит, лежала просто куча крупно нарубленного мяса, а сверху – стопкой, как надвинутые одна на другую тарелки, – восемь красноармейских пилоток...

Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть?

Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще хватит об этом! – Лейтенант Герасимов надолго умолк.

– Можно здесь закурить? – спросил я его.

– Можно. Курите в руку, – охрипшим голосом ответил он. И, закурив, продолжал:

– Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все, что творили фашисты, да иначе и не могло быть. Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что они с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей. Потом мы снова отступали, но дрались как черти!

В моей роте почти все бойцы были сибиряки. Однако украинскую землю мы защищали прямо-таки отчаянно. Много моих земляков погибло на Украине, а фашистов мы положили там еще больше. Что ж, мы отходили, но духу им давали неплохо.

С жадностью затягиваясь папиросой, лейтенант Герасимов сказал уже несколько иным, смягченным тоном:

– Хорошая земля на Украине, и природа там чудесная! Каждое село и деревушка казались нам родными, может быть, потому, что, не скупясь проливали мы там свою кровь, а кровь ведь, как говорят, роднит... И вот оставляешь какое-нибудь село, а сердце щемит, и щемит, как проклятое. Жалко было, просто до боли жалко! Уходим и в глаза друг другу не глядим.

...Не думал я тогда, что придется побывать у фашистов в плену, однако пришлось. В сентябре я был первый раз ранен, но остался в строю. А двадцать первого, в бою под Денисовкой, Полтавской области, я был ранен вторично и взят в плен.

Немецкие танки прорвались на нашем левом фланге, следом за ними потекла пехота. Мы с боем выходили из окружения. В этот день моя рота понесла очень большие потери. Два раза мы отбили танковые атаки противника, сожгли и подбили шесть танков и одну бронемашину, уложили на кукурузном поле человек сто двадцать гитлеровцев, а потом они подтянули минометные батареи, и мы вынуждены были оставить высотку, которую держали с полудня до четырех часов. С утра было жарко. В небе ни облачка, а солнце палило так, что буквально нечем было дышать. Мины ложились страшно густо, и, помню, пить хотелось до того, что у бойцов губы чернели от жажды, а я подавал команду каким-то чужим, окончательным осипшим голосом. Мы перебежали по ложине, когда впереди меня разорвалась мина. Кажется, я успел увидеть столб черной земли и пыли, и это – все. Осколок мины пробил мою каску, второй попал в правое плечо.

Не помню, сколько я пролежал без сознания, но очнулся от топота чьих-то ног. Приподнял голову и увидел, что лежу не на том месте, где упал. Гимнастерки на мне нет, а плечо наспех кем-то перевязано. Нет и каски на голове. Голова тоже кем-то перевязана, но бинт не закреплен, кончик его висит у меня на груди. Мгновенно я подумал, что мои бойцы тащили меня и на ходу перевязали, и я надеялся увидеть своих, когда с трудом поднял голову. Но ко мне бежали не свои, а немцы. Это топот их ног вернул мне сознание. Я увидел их очень отчетливо, как в хорошем кино. Я пошарил вокруг руками. Около меня не было оружия: ни нагана, ни винтовки, даже гранаты не было. Планшетку и оружие кто-то из наших снял с меня.

«Вот и смерть», – подумал я. О чем я еще думал в этот момент? Если вам это для будущего романа, так напишите что-нибудь от себя, а я тогда ничего не успел подумать. Немцы были уже очень близко, и мне не захотелось умирать лежа. Просто я не хотел, не мог умереть лежа, понятно? Я собрал все силы и встал на колени, касаясь русской земли. Когда они подбежали ко мне, я уже стоял на ногах. Стоял и качался, и ужасно боялся, что вот сейчас опять упаду и они меня заколют лежачего. Ни одного лица я не помню.

Они стояли вокруг меня, что-то говорили и смеялись. Я сказал: «Ну, убивайте, сволочи! Убивайте, а то сейчас упаду». Один из них ударил меня прикладом по шее, я упал, но тотчас снова встал. Они засмеялись, и один из них махнул рукой – иди, мол, вперед. Я пошел. Все лицо у меня было в засохшей крови, из раны на голове все еще бежала кровь, очень теплая и липкая, плечо болело, и я не мог поднять правую руку. Помню, что мне очень хотелось лечь и никуда не идти, но я все же шел...

Нет, я вовсе не хотел умирать и тем более – оставаться в плену. С великим трудом преодолевая головокружение и тошноту, я шел, – значит, я был жив и мог еще действовать. Ох как меня томила жажда! Во рту у меня спеклось, и все время, пока мои ноги шли, перед глазами колыхалась какая-то черная штора. Я был почти без сознания, но шел и думал: «Как только напьюсь и чуточку отдохну – убегу!»...

На опушке рощи нас всех, попавших в плен, собрали и построили. Все это были бойцы соседней части. Из нашего полка я угадал только двух красноармейцев третьей роты. Большинство пленных было ранено. Немецкий лейтенант на

плохом русском языке спросил, есть ли среди нас комиссары и командиры. Все молчали. Тогда он еще раз спросил: «Комиссары и офицеры идут два шага вперед». Никто из строя не вышел.

Лейтенант медленно прошел перед строем и отобрал человек шестнадцать, по виду похожих на евреев. У каждого он спрашивал: «Юде?» – и, не дожидаясь ответа, приказывал выходить из строя. Среди отобранных им были и евреи, и армяне, и просто русские, но смуглые лицом и черноволосые. Всех их отвели немного в сторону и расстреляли на наших глазах из автоматов. Потом нас наспех обыскали и отобрали бумажники и все, что было из личных вещей. Я никогда не носил партбилета в бумажнике, боялся потерять; он был у меня во внутреннем кармане брюк, и его при обыске не нашли. Все же человек – удивительное создание: я твердо знал, что жизнь моя – на волоске, что если меня не убьют при попытке к бегству, то все равно убьют по дороге, так как от сильной потери крови я едва ли мог бы идти наравне с остальными, но когда обыск кончился и партбилет остался при мне, – я так обрадовался, что даже про жажду забыл!

Нас построили в походную колонну и погнали на запад. По сторонам дороги шел довольно сильный конвой и ехало человек десять немецких мотоциклистов. Гнали нас быстрым шагом, и силы мои приходили к концу. Два раза я падал, вставал и шел потому, что знал, что, если пролежу лишнюю минуту, и колонна пройдет, – меня пристрелят там же, на дороге. Так произошло с шедшим впереди меня сержантом. Он был ранен в ногу и с трудом шел, стоная, иногда даже вскрикивал от боли. Прошли с километр, и тут он громко сказал:

– Нет, не могу. Прощайте, товарищи! – и сел среди дороги.

Его пытались на ходу поднять, поставить на ноги, но он снова опускался на землю. Как во сне, помню его очень бледное молодое лицо, нахмуренные брови и мокрые от слез глаза... Колонна прошла. Он остался позади. Я оглянулся и увидел, как мотоциклист подъехал к нему вплотную, не слезая с седла, вынул из кобуры пистолет, приставил к уху сержанта и выстрелил. Пока дошли до речки, фашисты пристрелили еще нескольких отстававших красноармейцев.

И вот уже вижу речку, разрушенный мост и грузовую машину, застрявшую сбоку переезда, и тут падаю вниз лицом. Потерял ли я сознание? Нет, не потерял. Я лежал, протянувшись во весь рост, во рту у меня было полно пыли, я скрипел от ярости зубами, и песок хрустел у меня на зубах, но подняться я не мог. Мимо меня шагали мои товарищи. Один из них тихо сказал: «Вставай же, а то убьют!» Я стал пальцами раздирать себе рот, давить глаза, чтобы боль помогла мне подняться...

А колонна уже прошла, и я слышал, как шуршат колеса подъезжающего ко мне мотоцикла. И все-таки я встал! Не оглядываясь на мотоциклиста, качаясь как пьяный, я заставил себя догнать колонну и пристроился к задним рядам. Проходившие через речку немецкие танки и автомашины взмутили воду, но мы пили ее, эту коричневую теплую жижку, и она казалась нам слаще самой хорошей ключевой воды. Я намочил голову и плечо. Это меня очень освежило, и ко мне вернулись силы. Теперь-то я мог идти в надежде, что не упаду и не останусь лежать на дороге...

Только отошли от речки, как по пути нам встретилась колонна средних немецких танков. Они двигались нам навстречу. Водитель головного танка, рассмотрев, что мы – пленные, дал полный газ и на всем ходу врезался в нашу

колонну. Передние ряды были смяты и раздавлены гусеницами. Пешие конвойные и мотоциклисты с хохотом наблюдали эту картину, что-то орали высунувшимся из люков танкистам и размахивали руками. Потом снова выстроили нас и погнали сбоку дороги. Веселые люди, ничего не скажешь... В этот вечер и ночью я не пытался бежать, так как понял, что уйти не смогу, потому что очень ослабел от потери крови, да и охраняли нас строго, и всякая попытка к бегству наверняка закончилась бы неудачей. Но как проклинал я себя впоследствии за то, что не предпринял этой попытки! Утром нас гнали через одну деревню, в которой стояла немецкая часть. Немецкие пехотинцы высыпали на улицу посмотреть на нас. Конвой заставил нас бежать через всю деревню рысью. Надо же было унижить нас в глазах подходившей к фронту немецкой части. И мы бежали. Кто падал или отставал, в того немедленно стреляли. К вечеру мы были уже в лагере для военнопленных.

Двор какой-то МТС был густо огорожен колючей проволокой. Внутри плечом к плечу стояли пленные. Нас сдали охране лагеря, и те прикладами винтовок загнали нас за огорожу. Сказать, что этот лагерь был адом, – значит, ничего не сказать. Уборной не было. Люди испражнялись здесь же и стояли и лежали в грязи и в зловонной жиже. Наиболее ослабевшие вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. Кружку воды и горсть сырого проса или прелого подсолнуха, вот и все. Иной день совсем забывали что-либо дать... Дня через два пошли сильные дожди. Грязь в лагере растолкли так, что бродили в ней по колено. Утром от намокших людей шел пар, словно от лошадей, а дождь лил не переставая... Каждую ночь умирало по несколько десятков человек. Все мы слабели от недоедания с каждым днем. Меня вдобавок мучили раны.

На шестые сутки я почувствовал, что у меня еще сильнее заболело плечо и рана на голове. Началось нагноение. Потом появился дурной запах. Рядом с лагерем были колхозные конюшни, в которых лежали тяжелораненые красноармейцы. Утром я обратился к унтеру из охраны и попросил разрешения обратиться к врачу, который, как сказали мне, был при раненых. Унтер хорошо говорил по-русски. Он ответил: «Иди, русский, к своему врачу. Он немедленно окажет тебе помощь».

Тогда я не понял насмешки и, обрадованный, побрел к конюшне.

Военврач третьего ранга встретил меня у входа. Это был уже конченый человек. Худой до изнеможения, измученный, он был уже полусумасшедшим от всего, что ему пришлось пережить. Раненые лежали на навозных подстилках и задыхались от дикого зловония, наполнявшего конюшню. У большинства в ранах кишели черви, и те из раненых, которые могли, выковыривали их из ран пальцами и палочками... Тут же лежала груда умерших пленных, их не успевали убирать.

«Видели? – спросил у меня врач. – Чем же я могу вам помочь? У меня нет ни одного бинта, ничего нет! идите отсюда, ради бога, идите! А бинты ваши сорвите и присыпьте раны золой. Вот здесь у двери – свежая зола».

Я так и сделал. Унтер встретил меня у входа, широко улыбаясь. «Ну, как? О, у ваших солдат превосходный врач! Оказал он вам помочь? Я хотел молча пройти мимо него, но он ударил меня кулаком в лицо, крикнул: «Ты не хочешь отвечать, скотина?!» Я упал, и он долго бил меня ногами в грудь и в голову. Бил до тех пор, пока не устал. Этого фашиста я не забуду до самой смерти, нет, не забуду! Он и после бил меня не раз. Как только увидит сквозь проволоку меня,

приказывает выйти и начинает бить, молча, сосредоточенно... Вы спрашиваете, как я выжил?

До войны, когда я еще не был механиком, я работал грузчиком на Каме, на разгрузке носил по два куля соли, в каждом – по центнеру. Силенка была, не жаловался, к тому же вообще организм у меня здоровый, но главное – это то, что не хотел я умирать, воля к сопротивлению была сильна. Я должен был вернуться в строй бойцом за родину, и я вернулся, чтобы мстить врагам до конца!

Из этого лагеря, который являлся как бы распределительным, меня перевели в другой лагерь, находившийся километрах в ста от первого. Там все было так же устроено, как и в распределительном: высокие столбы, обнесенные колючей проволокой, ни навеса над головой, ничего. Кормили так же, но изредка вместо сырого проса давали по кружке вареного гнилого зерна или же втаскивали в лагерь трупы издохших лошадей, предоставляя пленным самим делить эту пададь. Чтобы не умереть с голоду, мы ели – и умирали сотнями... Вдобавок ко всему в октябре наступили холода, беспрестанно шли дожди, по утрам были заморозки. Мы жестоко страдали от холода. С умершего красноармейца мне удалось снять гимнастерку и шинель. Но и это не спасло от холода, а к голоду мы уже привыкли...

Стерегли нас разжиревшие от грабежей солдаты. Все они по характеру были сделаны на одну колодку. Наша охрана на подбор состояла из отъявленных мерзавцев. Как они, к примеру, развлекались: утром к проволоке подходит какой-нибудь ефрейтор и говорит через переводчика:

«Сейчас раздача пищи. Раздача будет происходить с левой стороны».

Ефрейтор уходит. У левой стороны огорожи толпятся все, кто в состоянии стоять на ногах. Ждем час, два, три. Сотни дрожащих, живых скелетов стоят на пронизывающем ветру... Стоят и ждут.

И вдруг на противоположной стороне быстро появляются охранники. Они бросают через проволоку куски нарубленной конины. Вся толпа, понукаемая голодом, шарахается туда, около кусков измазанной в грязи конины идет свалка...

Охранники хохочут во все горло, а затем резко звучит длинная пулеметная очередь. Крики и стоны. Пленные отбегают к левой стороне огорожи, а на земле остаются убитые и раненые... Высокий обер-лейтенант – начальник лагеря – подходит с переводчиком к проволоке. Обер-лейтенант, еле сдерживаясь от смеха, говорит:

«При раздаче пищи произошли возмутительные беспорядки. Если это повторится, я прикажу вас, русских свиней, расстреливать беспощадно! Убрать убитых и раненых!» Гитлеровские солдаты, толпящиеся позади начальника лагеря, просто помирают со смеху. Им по душе «остроумная» выходка их начальника.

Мы молча вытаскиваем из лагеря убитых, хороним их неподалеку, в овраге... Били и в этом лагере кулаками, палками, прикладами. Били так просто, от скуки или для развлечения. Раны мои открывались и болели нестерпимо. Но я все еще жил и не терял надежды на избавление... Спали мы прямо в грязи, не было ни соломенных подстилок, ничего. Собьемся в тесную кучу, лежим. Всю ночь идет тихая возня: зябнут те, которые лежат на самом низу, в грязи, зябнут и те, которые находятся сверху. Это был не сон, а горькая мука.

Так шли дни, словно в тяжком сне. С каждым днем я слабел все более. Теперь меня мог бы свалить на землю и ребенок. Иногда я с ужасом смотрел на свои

обтянутые одной кожей, высохшие руки, думал: «Как же я уйду отсюда?» Вот когда я проклинал себя за то, что не попытался бежать в первые же дни. Что ж, если бы убили тогда, не мучился бы так страшно теперь.

Пришла зима. Мы разгребали снег, спали на мерзлой земле. Все меньше становилось нас в лагере... Наконец было объявлено, что через несколько дней нас отправят на работу. Все ожили. У каждого проснулась надежда, хоть слабенькая, но надежда, что, может быть, удастся бежать.

В эту ночь было тихо, но морозно. Перед рассветом мы слышали орудийный гул. Все вокруг меня зашевелилось. А когда гул повторился, вдруг кто-то громко сказал:

– Товарищи, наши наступают!

И тут произошло что-то невообразимое: весь лагерь поднялся на ноги, как по команде! Встали даже те, которые не поднимались по нескольку дней. Вокруг слышался горячий шепот и подавленные рыдания... Кто-то плакал рядом со мной по-женски, навзрыд... Я тоже... я тоже... – прерывающимся голосом быстро проговорил лейтенант Герасимов и умолк на минуту, но затем, овладев собой, продолжал уже спокойнее: «У меня тоже катились по щекам слезы и замерзали на ветру... Кто-то слабым голосом запел «Интернационал», мы подхватили тонкими, скрипучими голосами. Часовые открыли стрельбу по нас из пулеметов и автоматов, раздалась команда: «Лежать!» Я лежал, вдавив тело в снег, и плакал, как ребенок. Но это были слезы не только радости, но и гордости за наш народ. Фашисты могли убить нас, безоружных и обессиливших от голода, могли замучить, но сломить наш дух не могли, и никогда не сломят! Не на тех напали, это я прямо скажу.

Мне не удалось в ту ночь дослушать рассказ лейтенанта Герасимова. Его срочно вызвали в штаб части. Но через несколько дней мы снова встретились. В землянке пахло плесенью и сосновой смолой. Лейтенант сидел на скамье, согнувшись, положив на колени огромные кисти рук со скрещенными пальцами. Глядя на него, невольно я подумал, что это там, в лагере для военнопленных, он привык сидеть вот так, скрестив пальцы, часами молчать и тягостно, бесплодно думать.

– Вы спрашиваете, как мне удалось бежать? Сейчас расскажу. Вскоре после того, как слышали мы ночью орудийный гул, нас отправили на работу по строительству укреплений. Морозы сменились оттепелью. Шли дожди. Нас гнали на север от лагеря. Снова было то же, что и вначале: истощенные люди падали, их пристреливали и бросали на дороге...

Впрочем, одного унтер застрелил за то, что он на ходу взял с земли мерзлую картофелину. Мы шли через картофельное поле. Старшина, по фамилии Гончар, украинец по национальности, поднял эту проклятую картофелину и хотел спрятать ее. Унтер заметил. Ни слова не говоря, он подошел к Гончару и выстрелил ему в затылок. Колонну остановили, построили. «Все это – собственность германского государства, – сказал унтер, широко поводя вокруг рукой, – всякий из вас, кто самовольно что-либо возьмет, будет убит».

В деревне, через которую мы проходили, женщины, увидев нас, стали бросать нам куски хлеба, печеный картофель. Кое-кто из наших успел поднять, остальным не удалось: конвой открыл стрельбу по окнам, а нам приказано было идти быстрее. Но ребяташки – бесстрашный народ, они выбегали за несколько кварталов вперед, прямо на дорогу клали хлеб, и мы подбирали его.

Мне досталась большая вареная картофелина. Разделили ее пополам с соседом, съели с кожурой. В жизни я не ел более вкусного картофеля! Укрепления строились в лесу. Немцы значительно усилили охрану, выдали нам лопаты. Нет, не строить им укрепления, а разрушать я хотел!

В этот же день перед вечером я решился: вылез из ямы, которую мы рыли, взял лопату в левую руку, подошел к охраннику... До этого я заметил, что остальные немцы находятся у рва и, кроме этого, какой наблюдал за нашей группой, поблизости никого из охраны не было.

– У меня сломалась лопата... вот посмотрите, – бормотал я, приближаясь к солдату. На какой-то миг мелькнула у меня мысль, что если не хватит сил, и я не свалю его с первого удара, – я погиб. Часовой, видимо, что-то заметил в выражении моего лица. Он сделал движение плечом, снимая ремень автомата, и тогда я нанес удар лопатой ему по лицу. Я не мог ударить его по голове, на нем была каска. Силы у меня все же хватило, немец без крика запрокинулся навзничь.

В руках у меня автомат и три обоймы. Бегу! И тут-то оказалось, что бегать я не могу. Нет сил, и баста! Остановился, перевел дух и снова еле-еле потрусил рысцей. За оврагом лес был гуще, и я стремился туда. Уже не помню, сколько раз падал, вставал, снова падал... Но с каждой минутой уходил все дальше. Всклипывая и задыхаясь от усталости, пробирался я по чаще на той стороне холма, когда далеко сзади застучали очереди автоматов и послышался крик. Теперь поймать меня было нелегко.

Приближались сумерки. Но если бы немцы сумели напасть на мой след и приблизиться, – только последний патрон я приберег бы для себя. Эта мысль меня ободрила, я пошел тише и осторожнее.

Ночевал я в лесу. Какая-то деревня была от меня в полукилометре, но я побоялся идти туда, опасаясь нарваться на немцев.

На другой день меня подобрала партизаны. Недели две я отлеживался у них в землянке, окреп и набрался сил. Вначале они относились ко мне с некоторым подозрением, несмотря на то, я достал из-под подкладки шинели кое-как зашитый мною в лагере партбилет и показал им. Потом, когда я стал принимать участие в их операциях, отношение ко мне сразу изменилось. Еще там открыл я счет убитым мною фашистам, тщательно веду его до сих пор, и цифра помаленьку подвигается к сотне.

В январе партизаны провели меня через линию фронта. Около месяца пролежал в госпитале. Удалили из плеча осколок мины, а добытый в лагерях ревматизм и все остальные недуги буду залечивать после войны. Из госпиталя отпустили меня домой на поправку. Пожил дома неделю, а больше не мог. Затосковал, и все тут! Как там ни говори, а мое место здесь до конца.

Прощались мы у входа в землянку. Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, лейтенант Герасимов говорил:

– ...И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком; знаете, как это говорится: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», – а вот у нас они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игмом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если

любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю, – закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой.

А я впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть ее было невозможно, как я ни старался.

*Правда. 1942. 22 июня*